

Наталья Громова

И М Е Н

Н О Й У

К А З А

Т Е Л Ь



...Как сталкер
по таинственной
местности

Проза Натальи Громовой

Наталья Громова
Именной указатель

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Громова Н. А.

Именной указатель / Н. А. Громова — «Издательство АСТ»,
2020 — (Проза Натальи Громовой)

ISBN 978-5-17-119179-5

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-119179-5

© Громова Н. А., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Люди	6
Энциклопедическое	6
Театральное	18
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Наталья Громова

Именной указатель

Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить...

Б. Пастернак “Охранная грамота”

© Громова Н. А.

© Черногаев Д. Д.

© ООО “Издательство АСТ”

* * *

Чтение указателей – особый жанр. Бывает, что книга берется в руки только ради одного имени. Ссылка может обнаружить связь между персонажами, которые, казалось бы, не должны были встретиться в одной книге, но внезапно пересеклись. Именной указатель похож на карту звездного неба, где можно, если постараться, увидеть скрещения судеб.

Порой просматривание именных указателей похоже на прохождение сталкера по таинственной местности. Ты сам сначала не осознаешь, что ищешь. Бывает так: когда-то имя сфотографировалось в памяти и прежде ничего не значило, но вот ты встречаешь его в указателе и как по нити Ариадны выходишь к новому сюжету или находишь ответ на давно неразгаданный ребус. Поэтому нет ничего более упоительного, чем, как бусины, перебирать строчки цифр и находить на страницах текста пересечения во времени и в пространстве одного героя с другим. А если повезет, то за этими цифрами и буквами окажутся еще живые люди, которых можно расспросить, увидеть их письма, услышать воспоминания и рассказы.

Самые чудесные связи и пересечения открылись мне во внезапно обнаруженных дневниках Ольги Бессарабовой и Варвары Малахеевой-Мирович. Я перелистывала страницу за страницей и не верила своим глазам; казалось, все известные люди начала XX века решили собраться на одном пяточке истории. Марина Цветаева и Татьяна Скрябина, Лев Шестов и Алла Тарасова, Даниил Андреев и Владимир Фаворский, Игорь Ильинский и Сонечка Голлидэй и многие другие. Именно тогда я поняла, как тонок был интеллектуальный слой России. Как легко его можно было свести на нет, стереть из памяти. Сколько тайн и смыслов скрыто в упоминании, что такой-то и такой-то оказался в том или ином месте или встретился с тем-то. В начале века эти пересечения и сближения играли огромную роль в возникновении чертежа судьбы.

Путешествие, в которое я отправилась несколько десятилетий назад, отвечало вполне понятной задаче: собирать свидетельства уходящего времени, разыскивать архивы, писать документальные книги. Однако почти каждый человек, встреченный на моем пути (неважно, был он живым или архивно-книжным), не только становился источником сведений, но и незаметно входил в мою жизнь. Мне повезло встретить людей, которые пришли ко мне из другого времени. Встречи с ними могли быть короткими или длинными, случайными или намеренными, но главное, они оказывались для меня мостом из настоящего в прошлое. Я часто понимала, что получаю свидетельства не только от моих непосредственных собеседников, но через них – от того, кто не дожил, с кем не удалось встретиться...

В этой книге я рассказываю и о тех, с кем дружила и с кем виделась лишь однажды, кого встретила в архивах или в чьих-то устных историях. За пределами этих страниц осталось еще столько же героев и сюжетов, ждущих своего продолжения. И я надеюсь и дальше рассказывать о людях, которые встретились на моем пути.

Люди

Энциклопедическое

Юность моя проходила в издательстве “Советская энциклопедия”, где я наблюдала удивительные сцены.

В годы перестройки, когда еще было плохо понятно, что можно, а что нельзя, один редактор несся по коридору с гранками статей “Бухарин”, “Рыков” и “Троцкий”, а за ним бежал его начальник с криком “Не смей!”. Редактор пытался обходным путем показать статейки высшему начальству. Он задыхался и почти что плакал. Строчка, заметка в огромном справочнике пробивала бреши умолчаний, открывала двери истории. Но за каждым таким шагом могли быть сердечные приступы, исступленная борьба, разрыв отношений.

“Энциклопедия” была огромным материком, где под одной крышей существовали все направления человеческих знаний и умений. Но она была еще и советским материком; все колебания почвы советской жизни, старые и новые веяния отпечатывались на страницах словарей как складки на горной гряде.

Под обложкой нашего словаря должны были собраться “Русские писатели” с 1800-го по 1917 год. В редакции литературы “Советской энциклопедии”, где решили осуществить эту отчаянную попытку, я стала работать в начале 1980-х младшим редактором.

Почти сразу я поняла, что попала в странный, немного призрачный мир. За окнами унылый застой. Каждую неделю распределялись заказы (курица, гречка, пачка индийского чая, иногда батон сырокопченой колбасы). Газеты выписывали только затем, чтобы вычитать что-то между строк. С тревогой обсуждали польскую “Солидарность”, говорили о тех, кто уезжает или кого высылают.

Здесь же шла отдельная жизнь. Редакторы вели себя так, словно владели неким тайным знанием. Во время чая, в перерывах между непрерывной работой, которая не прекращалась ни днем, ни ночью, мне объясняли, что история России – это и есть история литературы и литераторов. Здесь писали все: горничные, пожарные, ученые, путешественники, цари, сторожа, женщины без всяких занятий, князья, артисты, машинисты, повара, актеры. Кто тайно, кто явно. В России не было ни политики, ни общественной жизни, ни партий, ни профсоюзов... только литература и журналистика.

Просто при ближайшем рассмотрении оказывалось, что здесь больше ничего и не осталось. И вот словарь и стал попыткой сшивания культурной ткани, разорванной на тысячи лоскутов.

– Мы страна Слова, – провозглашали редакторы. – Если мы не опишем это явление в биографиях и судьбах, этого не сделает никто и никогда.

Произносили речи обычно за чаем, за рюмкой, на улице, когда шли до метро. Словно делились тайным знанием. И я понимала, что попала в Церковь, куда тебя могли принять, а могли не пустить даже на порог, несмотря на то, что ты тут служишь.

В двух длинных комнатах с высокими окнами, выходящими на Покровский бульвар, стояло около десяти столов, за которыми сидело обычно по два редактора; остальные, как правило, работали дома или в библиотеке. В высокие потолки упирались полки с папками, на корешках которых были написаны белой краской фамилии литераторов.

В полном составе редакция собиралась раз в неделю на летучке. Все вместе редакторы производили на меня, особенно вначале, неизгладимое впечатление. С виду очень приличные интеллигентные люди, теперь они металась и кричали, обвиняя друг друга в смертных грехах. Я никак не могла ухватить суть их конфликта. Они выкрикивали фамилии своих героев с такой

страстью, словно речь шла об их близких родственниках. Их возмущало, что на того или иного литератора было отпущено мало знаков. Количество знаков говорило о том, сколько текста уходит на статью. Одни писатели раздувались, разрастались и отбирали жизненное пространство у других. Особую ненависть снискали писатели знаменитые – типа Гончарова, Достоевского или Блока.

Считалось, что про них и так уже сто раз было всё написано и давно всё известно, а теперь они своими объемами отнимали знаки у писателей неизвестных, маленьких или забытых.



Члены редакции “Литературы и языка” “Советской энциклопедии”: Николай Пантелеймонович Розин, Сергей Михайлович Александров, Татьяна Бударина, Константин Михайлович Черный, Юрий Григорьевич Буртин

Некоторых из таких потерявшихся писателей редакторы ласково называли “кандидаты”. О них обычно было известно ничтожно мало. Рождение. Смерть. Несколько публикаций. Всё. Они были “табула rasa”. У каждого редактора был свой отряд авторов-поисковиков, которых они по-отечески пестовали, наставляли, в глубине души понимая, что только они знают на самом деле, как сделать настоящую статью о любом писателе. Это была тайна верескового меда, которую они не доверяли никому.

Вся русская литература в словаре была поделена на периоды. Пушкинским периодом заведовала Людмила Щемелева и Николай Розин, народниками и писателями середины XIX века – Юрий Буртин и Людмила Боровлева, концом XIX века – Сергей Александров, а началом XX века – Константин Черный и Людмила Клименюк. Первое, что мне бросилось в глаза, – редакторы как-то странно перевоплощались в людей того или иного периода литературы. Они разделяли взгляды своих персонажей, говорили теми же словами и словечками, а главное, бились с другими периодами за главенство своего.

Николай Пантелеймонович Розин был фигурой во всех смыслах необычной. Худой, высокого роста, немного сутулый, с бородкой клинышком, голубыми глазами, которые смотрели или глубоко в себя, или вдруг с невероятным озорством – на всех окружающих. Он любил выбрасывать руку вперед и кричать по-ленински о победе революции, о которой так долго говорили большевики. Большевиков он ненавидел яростно и люто. Он снискал славу человека, который свои небольшие статьи о писателях-стукачах в Краткой литературной энциклопедии (КЛЭ) подписывал – Гпухов или Гпушкин. Однажды он рассказал, как во время войны мать везла его на санках из одного села в Курской области в другое; бежали от немцев. Вернувшись в свое село, он увидел, как партизаны расправились с его односельчанами. Говорил, что его ужаснула та жестокость, с которой он столкнулся. Людей вешали прямо на березах или прибивали к ним гвоздями.

Он обожал обманывать начальство “Энциклопедии”, разрабатывал целые операции, чтобы протащить тех или иных писателей, старался ввести в словник как можно больше религиозных литераторов, горячо любил эзопов язык.

Он был неофит в церковной жизни, искал смысл в обрядах, мог прийти на работу с рассказом о том, что стоял в церкви на службе, а в голову ему лезли матерные слова, о чем он тяжело сокрушался. Был яростным борцом за мораль и нравственность. Вбегал утром на работу с криком, что не может ездить летом в транспорте, потому что у всех женщин – голые спины!

Над ним смеялись, а он смеялся над собой вместе со всеми.

Людмила Макаровна Щемелева, работавшая с ним в паре, часто была недовольна им и ругала его, хотя была вдвое моложе. Он уважительно слушал ее, но иногда хватал себя за бороду и огромными шагами выбегал из комнаты. Прийти мог через несколько часов, тихий и умиротворенный. Люся, как мы звали Людмилу Макаровну, вообще не признавала никаких авторитетов и разговаривала со всеми на особом языке. Он состоял из философских сентенций, простых человеческих слов и детских выкриков. В построении его фразы почти никогда не прослеживалась логика, она запросто опускала целые речевые периоды, ее мысль летела, скакала, ей некогда было объяснять собеседнику подробности. С ней было очень интересно, но ее темперамент сносил всё на своем пути. Она была полна множества познаний, имела железную волю и неумолимый характер. Ссорилась с Розиным раз в месяц, не разговаривала с ним, общаясь исключительно письмами. Впрочем, она почти со всеми общалась письмами, и, чтобы их разобрать, требовались огромные усилия. Это были крючки, стрелы, буквы, которые тоже летели через периоды. Для меня же это была великолепная школа. После того как я перепечатала сотни страниц с ее правкой, мне уже был не страшен никакой почерк на свете.

Ее почитали все, хотя она могла обругать и директора издательства, и Ю. М. Лотмана. Я видела своими глазами, как она трясла как грушу худого и тонкого Сергея Сергеевича Аверинцева, требуя от него статью, а он только жалобно оправдывался. Она могла остановить человека на улице и объяснять ему что-нибудь про величие русской литературы или рассказывать об очередном писателе. Она не делила людей на простых и сложных. Персонажей из словаря ощущала живыми и говорила с ними и о них, будто они что-то выкинули, учудили, устроили только вчера.

С Юрием Михайловичем Лотманом Люся делала статью о Пушкине¹, и статья эта разрасталась до огромных размеров. Шла напряженная переписка с Тарту. И вот в один прекрасный день дверь открылась и в лучах осеннего солнца появился человек небольшого роста в больших седых усах и с тросточкой. Я сидела в своем углу. Он вошел и раскланялся.

¹ Как указывают современники, статья Юрия Михайловича, с которой он приехал работать в редакцию, была о Карамзине. Но так как разговор все время возвращался к будущей статье Лотмана о Пушкине, оставляю все, как помню. (*Здесь и далее примеч. авт.*)

– А! – закричала Люся. – Юрий Михайлович! Вот вы и попались.

– Я сам пришел! – немного обиженно ответил Лотман.

Но Л. М. не унималась, она ворчала, что его Пушкин превысил все возможные объемы и теперь уж она устроит Лотману!

Я тем временем неотрывно смотрела на него. Он был абсолютно не похож ни на кого. Маленький, улыбочивый, каждую остроумную реплику, которую он подавал в ответ на крики Люси, он сопровождал взглядом артиста по сторонам: “Ну как?” Мое лицо, видимо, выражало идиотскую радость, поэтому Люся решила выстрелить из всех орудий.

Дело в том, что я пописывала небольшие статьи для энциклопедии “Ленинград” про разных писателей. Все видные авторы от этой неблагодарной работы отказались. Я втянула туда недавно освоенное мною понятие “петербургский текст”. Люся меня хвалила и усердно, по-редакторски, переписывала мои статьи. И вот я и еще один юноша вместе написали статью о Пушкине, которую Л. М. недавно “довела до ума”.

Теперь глянув на меня, она вдруг пронзительно закричала:

– А вот Наташе, Юрий Михайлович, удалось всего на трех страницах всё сказать про Пушкина... и вполне...

Лотман вскинул на меня глаза. И, не улыбаясь, как-то картинно встал, поклонился и развел руками:

– Могу только завидовать и восхищаться...

Я сделалась даже не пунцовой, а, наверное, серо-буро-малиновой. Глаз я больше не подымала и в душе кляла Люсю на чем свет стоит. Но они уже забыли про меня и перешли к своей огромной статье. А я слушала их восхитительные препирательства. Лотман был абсолютно нездешний. От того, как он говорил, шутил и смеялся, до того, как *видел* другого человека. Он был настолько живой и настоящий, без капли высокомерия, чванливости, что потом, спустя годы, когда разочаровывалась в том или ином известном человеке, то вспоминала Лотмана и понимала, что мне удалось увидеть такое высокое измерение личности, что мне нечего расстраиваться по подобным поводам.

Учиться приходилось на ходу. Как-то мне дали список редколлегии словаря и попросили пригласить всех на большое совещание. Я начала обзванивать каких-то допотопных академиков от литературы. Я просто не слышала еще таких имен; была абсолютно невежественна и разговаривала со всеми с одинаково наивным прямодушием. Сначала позвонила литературоведу Макашину и стала ему вежливо сообщать, куда и во сколько надо прийти.

– Деточка, – проскрипел он, – а Илья Самойлович будет?

Я быстро глянула в список:

– Зильберштейн? Конечно, будет.

– Тогда я не приду, – хрипнула трубка и раздались короткие гудки.

Люся, которая при этом присутствовала, страшно закричала. Я сначала даже не поняла, в чем дело.

– Как же можно звонить Макашину, не зная, что он терпеть не может Зильберштейна!? – разрывалась она. – Что за непрофессионализм! Как же теперь мы будем без Макашина!? Ты сначала выучи, кто, как, к кому относится, а потом звони!

Я сидела пораженная в самое сердце. Потом я не только выучила – я стала ходить на цыпочках по досочкам литературного мира вперед и назад, влево и вправо, зная, где ожидает засада, а откуда раздастся пулеметная очередь. Тогда же смиренный Юрий Григорьевич Буртин, мой добрый редактор, сказал Люсе, что это он во всем виноват, потому что не дал мне правильных указаний. Он был для меня настоящим старшим другом. У него были седые вьющиеся волосы, очень мягкий дружеский взгляд и открытое приветливое лицо. Когда я глядела на него, то часто чувствовала внутри себя какую-то уютную дочернюю радость и сладко думала

о том, что вот таким должен был быть мой отец, если бы он не пошел в советскую армию и не загубил бы там свой дар.

Юрий Григорьевич Буртин когда-то работал в “Новом мире” у Твардовского. Он был полон народнических представлений о мире и считал, что основа всего – правильное просвещение людей. Достоевский был ему глубоко антипатичен и чужд, но статья о нем выпала на его период, и он вынужден был ее редактировать. Иногда он с добрым прищуром смотрел на меня и спрашивал:

– Неужели, Наташа, вам нравится этот великий путаник?

Я задыхалась от возмущения. Слова с бульканьем выкатывались из меня. Я тоже научилась горячо отстаивать любимых писателей. Юрий Григорьевич только улыбался в ответ. Для него словарь был своего рода Дворцом просвещения, именно такие великие книги будут спасать народ от темноты. Он писал огромные простыни-обоснования необходимости всем навальтаться на великую культурную задачу этого столетия. Он создавал методички для новичков. Вынимал из-под земли писателей-самоучек, учителей, врачей, путешественников, адвокатов... Когда-то для него таким был “Новый мир”. Его авторы – в основном это были молодые застенчивые дамы, похожие на курсисток, – приходили к Буртину со статьями, которые он правил понятным красивым почерком.

Сергей Александров когда-то работал в издательстве “Искусство”. В редакцию он пришел недавно и представлял собой тип неуравновешенного человека конца XIX – начала XX века с очень смутным мировоззрением, что удивительным образом ложилось на его работу в этом периоде. Он мог разделять откровенно черносотенные взгляды и восхищаться поэзией Мандельштама, прекрасно разъяснять поэзию и прозу, быть тончайшим знатоком культуры, но при этом страдать каким-то пещерным антисемитизмом. Он очень благоволил ко мне. Проповедовал христианские истины. Но однажды на мое жесткое утверждение о том, что еврейство и Христос неделимы, вдруг как-то истерично воскликнул: “Как бы вы отнеслись к людям, которые бы убили вашего Отца?!” Я немного растерялась, но, тут же опомнившись, выпалила ему про еврейское происхождение Апостолов. Надо сказать, он этого ждал, но, ответить ему было нечего, поэтому, зашипев, он выбежал из комнаты. Так протекали наши частные стычки, но они не становились фатальными. Мы на время примирялись, и я с наслаждением снова и снова слушала его рассуждения о литературе.

Константин Михайлович Черный Александрова не любил. И не раз пытался меня предостеречь от общения с ним. Но говорил об этом так двусмысленно и непонятно, что я не обращала внимания на его слова.

Константин Михайлович Черный был предметом женских грез и героем многочисленных романов, которые протекали в стенах “Энциклопедии”. Он соединял в себе множество типических черт персонажей начала XX века, статьи о которых вел как редактор. Сюда входили игры, намеки, эпиграммы, мистификации и перевертыши – все это было его стихией. Судьба распорядилась так, что именно его сделали заведующим редакцией литературы. Люся тут же объявила это назначение монашеским послушанием Черного: работа на этой должности покрывает все его прежние прегрешения. Но о прегрешениях я почти ничего не знала. Только смутно догадывалась. Вообще, в редакции было множество внутренних тайн, о которых шутили, говорили намеками, писали друг другу к дням рождения послания, в которых угадывался второй смысл. На вопросы отвечали редко. Постепенно я вошла во внутреннюю атмосферу этой жизни и начала что-то нащупывать в сложной конфигурации отношений между редакторами.

Черный же в минуту откровения однажды сказал мне вполне в духе своих героев-декадентов:

– Вы знаете, Наташа, работой я заполняю внутреннюю пустоту.

Слышать это было нестерпимо, потому что он был, несомненно, яркий и артистичный человек, но с трещинкой внутри. Он поднял огромный груз и погиб под его тяжестью. Он умер очень рано, в пятьдесят три года. Случилось это в 1993 году.

Еще задолго до этого, в начале 1980-х, в редакции собрались знаменитые филологи, чтобы отметить начало работы над словарем “Русские писатели”, и один из них произнес тост. Смысл его сводился к следующему. Такого рода многотомные книги, осмысляющие прошлое, требуют спокойствия и сосредоточенности. Был когда-то похожий словарь – Русский Биографический, но падение русской монархии в 1917 году прервало его составление, кажется, на букве “М”, затем был словарь Венгерова, и он пресекся на букве “Н”, потому что случилась Октябрьская революция. А вот теперь-то мы уже доведем наше дело до конца, теперь уж нам не угрожают никакие перемены и уж тем более революции...

Революция все-таки произошла, хотя никто и представить не мог, что она случится. Поначалу все было тревожно и прекрасно. Шел 1986 год. На совещании у директора издательства утрясали дела по первому тому. Хуже всего было то, что в нем были такие фигуры, как Гиппиус и Гумилев. Начальство трепетало. Тут была еще и своя специфика.

Зам. директора “Энциклопедии” Терехов, огромный краснолицый мужчина уже когда-то поплатился за Гумилева. В 1960-е, будучи директором издательства “Просвещение”, он выпустил антологию поэзии XX века, где было два стихотворения Гумилева. Терехова посчитали Робеспьером и понизили в должности. К 1980 году он все-таки поднялся до зам. директора издательства “Советская энциклопедия”. И вот опять на его пути встал проклятый Гумилев.

В тот день все складывалось очень тяжело; редакция в полном составе сидела в кабинете главного редактора издательства Нобелевского лауреата по физике Александра Прохорова. Это был уже очень пожилой господин. На его худой фигуре, как на вешалке, висел пиджак. Недавно я шла по Ленинскому проспекту, где в начале одного из скверов возник памятник тому самому Прохорову, и вспомнила, как он сидел тогда во главе длинного блестящего стола и грустно смотрел на нашу компанию. Он абсолютно не понимал, что делать с редакцией, с этим томом словаря, с этим Гумилевым и прочими идеологическими заковыками, которые, кроме неприятностей, ничего не сулили. Собрание шло рывками. Выступал с обоснованиями Черный, что-то кричала Люся, строго говорил Буртин. Но лица Прохорова и Терехова ничего не выражали. Все понимали, что падение несчастного Гумилева – уже в который раз – дело времени. И вдруг случилось нечто невероятное.

Из-под двери появилась газета. Сначала было непонятно, зачем ее просунули и что она тут делает, но, внимательно ее рассмотрев, мы по очереди теряли дар речи. На первой же странице “Литературной России” красовался портрет поэта с подписью – “К столетию Гумилева”. Теперь газета, как живая, ползла по поверхности стола. Каждый, мимо кого она проезжала, менялся в лице – на нем возникала безумная улыбка. Терехов заволновался.

– Что у вас там, товарищи? Почему отвлекаетесь? – Перед ним развернули газету с огромным портретом Гумилева. Сначала он смотрел на нее с абсолютно непроницаемым видом, потом приблизил к глазам. Кажется, он даже попытался ее понюхать. Видно было, как ему тяжело. Он вздохнул и молча положил газету перед Прохоровым.

Академик оказался сообразительным.

– Ну, это другое дело, товарищи, – радостно возвестил он. – Если имя Гумилева принято на самом верху, то у нас не будет возражений, – и он посмотрел на Терехова.

Тот только промычал что-то в ответ. Нельзя было описать, как мы отмечали тот день в редакции. Какие тосты подымали и как пили за наше счастливое будущее.

Мое же собственное будущее было в тумане. Я работала на так называемой “беременной ставке”, и теперь молодая мать выходила на службу; при всей любви ко мне редакции надо было искать новое место. Это выглядело безнадежно и печально.

И тут появилась Нина Виноградова, очень обаятельная женщина, небольшого роста, с шапочкой коротких рыжих волос. Она служила в тот момент в редакции педагогики. Почему-то именно ей пришлось в голову устраивать мою судьбу.

До “Энциклопедии” Нина работала в атеистическом журнале “Наука и религия”, где внезапно освободилось место редактора, и ей показалось, что меня туда возьмут. Особенно экзотично было то, что мне предлагалось место в отделе “Ислам в СССР” с обязательными поездками по восточным республикам и отчетами о том, как там обстоит с атеистической пропагандой. Трудно даже представить, что могло ожидать молодую женщину в исламских республиках, пусть и советских, но в то время почему-то я об этом не думала и смотрела на свое будущее немного со стороны. Но что-то не заладилось. Журнал принадлежал ЦК КПСС. Мою кандидатуру долго перетряхивали, взвешивали и наконец сообщили, что мне решено отказать. Я ходила по коридорам Энциклопедии в глубокой задумчивости. Скоро я должна была остаться без работы.

И тут Нина вызвала меня к себе и, посадив напротив, начала рисовать какой-то странный график.

– Вот, посмотрите! Первый заведующий журнала “Наука и религия”, – и она показала его имя в прямоугольнике, – умер на столе, когда у него вырезали аппендицит. На его заместителя в подмосковном лесу напали волки.

Я с ужасом следила за ее рукой, выводившей странные значки.

– А вот и другие сотрудники редакции, – она чертила крестики возле фамилий, – у всех болезни, несчастья и разводы... Вы ведь догадываетесь, почему?

Мне казалось, что я догадываюсь, но сказать об этом вслух было неудобно, ведь Нина сама отправляла меня в это атеистическое логово. Я молчала. И, видимо, отвечая на мои мысли, она проговорила:

– Я к вам так привыкла за последнее время, что отдать вас в этот журнал на верную погибель было бы обидно. – Последние слова Нина произнесла с большой торжественностью.

Нине удалось сделать так, что я стала работать младшим редактором в редакции педагогики. Там я попала под начало Юрия Николаевича Короткова, который вместе со своими подчиненными производил на свет странную книгу под названием “Педагогическая энциклопедия”.

Статьи, которыми были наполнены два тома этого коллективного труда, были большей частью про пионеров, совет дружины, моральный кодекс строителей коммунизма, родительские советы, пионерские лагеря и т. д. Сначала меня даже веселило то, с какой страстью редакторы правят статьи и спорят на летучках, как лучше написать о пионерском движении, но постепенно это становилось невыносимо. Я убегала на третий этаж, в свою бывшую редакцию, и каждый раз удивлялась разрыву двух миров: здесь люди говорили о жизни, смерти, судьбе, литературе, каждый человек втягивался в орбиту настоящего дела, а там царил какой-то игрушечный и искусственный мир, где все притворялись, имитировали жизнь. Авторы-педагоги тоже показались мне не очень вменяемыми: один рассказывал о своем руководстве пионерлагерем так страстно и с таким надрывом (он писал теоретическую статью “Пионерлагерь”), что, глядя на него, я думала, оглядываясь вокруг: “Ну не может же он всерьез это говорить, почему же никто не смеется?”

Так получилось, что от редакционной тоски я придумала с друзьями из других редакций (все это теперь известные люди) рукописный научно-публицистический журнал. Шел 1987 год. Один из сотрудников “Педагогической энциклопедии”, психолог по образованию, лет тридцати, с которым я сидела в одной комнате, наблюдая за моей активностью, однажды сообщил

мне, что они нас будут вешать на фонарях. Я догадалась, что они – это комсомольские активисты “Энциклопедии”, с которыми этот редактор стал ездить за границу от бюро молодежного туризма “Спутник”. И теперь он по праву считал, что такие, как я, расшатывают привычный миропорядок, который ему так удобен. Надо сказать, что именно от него я впервые узнала, что я либерал и какое наказание мне за это полагается. Но в то же время я понимала, что раз он человек сильно пьющий, то нападки на меня можно отнести на счет его тяжелого похмельного синдрома.

Однако все оказалось гораздо печальнее. Некоторое время спустя Нина вызвала меня в курилку на лестницу и встревоженно сообщила, что на меня написан донос, с которым к Короткову пришел человек из 1-го отдела.

– А что такое 1-й отдел? – спросила я и тут же поняла, что сморозила какую-то глупость.

– КГБ, – строго ответила Нина.

Оказывается, сотрудник 1-го отдела принес большую бумагу от некоего лица (подпись на бумаге была заклеена), где было сказано, что я создаю в стенах “Энциклопедии” рукописный антисоветский журнал. Что это порочит наше учреждение и что со мной надо бы разобраться по всей строгости советских законов. Этот донос предъявили Короткову, который смертельно испугался и через Нину потребовал, чтобы с этого дня я сидела в комнате рядом с ним и не смела бегать в прежнюю редакцию, и даже в туалет выходила бы под его присмотром.

Нина строго посмотрела на меня:

– Я должна вас предупредить, как надо себя вести на допросах, если вас вызовут на Лубянку.

– А меня вызовут? – упавшим голосом спросила я.

– Если делу дадут ход, – деловито и в то же время торжественно ответила Нина, – вы должны будете там молчать и стараться не отвечать ни на какие вопросы.

Холодок пополз по спине. Я вспомнила, как в детском саду мы обменивались с товарищами по группе соображениями, о том, кто из нас выдержит пытки, а кто – нет.

На несколько месяцев я была прикована к своему столу, сидя под надзором Короткова, и горько оплакивала свою жизнь.

И вдруг меня вызвали в мою прежнюю редакцию литературы на третий этаж. Там мне радостно сообщили, что для меня лично выбили место. Что теперь мы навсегда неразлучны и я спасена.

Очень скоро Юрий Николаевич Коротков умер. И велико же было мое удивление, когда на его похоронах я увидела Натана Эйдельмана, называвшего моего заведующего своим близким другом. Из его выступления перед гробом я узнала много нового. Что когда-то Юрий Николаевич был смелым офицером, дошел до Вены. Что в 1960-е годы Коротков заведовал редакцией “ЖЗЛ”, где выходили замечательные биографии, а потом он создал журнал “Прометей”, где напечатал впервые много того, что раньше не пропускала цензура. Но в 1970-е, когда атмосфера изменилась, его сослали в “Энциклопедию”. Туда ссылали в те времена очень и очень многих. И он стал руководить сначала редакцией истории, а потом – педагогики. Но почему-то он сломался. Об этом Эйдельман, наверное, не знал. А я стояла и думала, что застала человека потерянного и запуганного, и так жаль, что мне ничего не было известно о его прежней свободной жизни.

Я вернулась в свою дорогую редакцию, в свой дом, и первое время это было счастьем. Однако очень скоро я почувствовала, что мой срок жизни в этих стенах почему-то исчерпан. Я чувствовала это, понимала, но откуда пришло это знание – не могла понять. Надо было отправляться в путь.

Новые перестроечные времена перевернули жизнь редакции литературы и изменили судьбу словаря. Из тайной ложи, резервации, объединяющей людей духа, она превратилась в

открытую всем ветрам корпорацию, на которую очень скоро перестали давать деньги. Это была обратная сторона медали. Редакторы забыли, что советская власть подкармливала интеллигенцию только затем, чтобы получать от нее идеологический продукт. Иногда позволялось немного заняться “культурой”, но не настолько, чтобы забыть, для чего все это делается. Неслучайно почти до конца 1980-х от Константина Черного требовали вступления в партию; его обрабатывали у начальства на каждом собрании, потому что иначе и быть не могло. Когда же советская власть рухнула, великий порыв интеллигенции по спасению прошлого признавался всеми, но только денег на это больше не было. Началось строительство капитализма. Место партии прочно заняла церковь. И на место главного редактора “Энциклопедии” пришел церковный мальчик из любимцев Патриарха, превративший издательство в “Православную энциклопедию”. “Русские писатели” вступили на путь долгой и страшной борьбы за существование, которая не заканчивается и по сей день. В процессе этой сокрушительной борьбы ушли из жизни почти все первые редакторы – хранители вересковского меда...



*Людмила Клименюк.
1980-е*

Именно в то переломное время случилось уже совсем несусветное. Настоящая трагедия. Мир редакции разорвался. После 1993 года все громче стали звучать речи о заговорах, о продаже России. Раньше если в стенах редакции такое и говорилось, то шепотом и с оглядкой. Это было неприлично. Когда-то редакция была единым, оборонявшимся от внешних сил, монолитным телом. И вот теперь даже коварные большевики становились ближе, чем новая либеральная власть и – как уже говорили на каждом углу – продавший Россию Ельцин.

Черный к тому времени уже умер. Не было в редакции Юрия Буртина, он тяжело болел. Менялись заведующие, я ушла на вольные хлеба и приходила уже сюда только как автор статей.

В тот злосчастный день я принесла статью, заказанную мне Людой Клименюк, женщиной невероятно правдолюбивой и страстной. Она взяла на свои плечи весь период начала XX века и работала не покладая рук.

Так как меня в тот момент занимала история церковной реформации начала XX века и попытки религиозного возрождения, я решила посмотреть статью о Сергее Нилусе, который был известен тем, что распространял текст “Протоколов Сионских мудрецов” (оказавшийся фальшивкой), пришедший из Франции. В нем, как известно, говорилось, что евреи разрабатывали идею “захвата” и “порабощения” всего мира. Этот псевдодокумент Нилус передал Николаю Второму, и он оказал влияние на царя, к которому этот своеобразный проповедник (собиравшийся получить сан священника) стремился попасть в духовники. Этот “документ” стал обоснованием погромов для черносотенцев и тем самым усиливал революционный накал в еврейских местечках. Нилус перехватил идею канонизации Серафима Саровского у Серафима Чичагова, который десятилетиями занимался собиранием документов и свидетельств о старце.

В девяностые годы XX века Нилус снова пригодился – его тексты с “протоколами” вновь стали продаваться в церковных лавках, и он вернулся в обиход определенного круга деятелей. Собственно, поэтому я и хотела посмотреть, как его трактуют теперь и что за статья готовится у нас в словаре. Редактором был Александров. Я пробежала глазами панегирический текст биографии, но это меня не так уж удивляло, я понимала, что Александров будет проводить именно такую линию, однако более всего меня поразила и даже обескуражила библиография в конце статьи. Часть ссылок на труды Нилуса отправляли читателя во Франкфурт 1939 года! То есть в то время, когда фашистское правительство использовало его труды для обоснования уничтожения евреев.

Конечно же, я показала статью Люде. Но я и представить себе не могла, что эта история перерубит ее жизнь пополам. Я-то ушла. Но с этого дня до меня стали доноситься отзвуки истории с Нилусом.

Люда огласила текст этой статьи и потребовала от своих товарищей – реакции. Но никто особенно не желал влезать в это дело. У всех была своя работа, жизнь была трудная. Александров же возмущался, что зашли на его территорию, и считал, что статья – его личное дело и что нужно опубликовать ее в словаре, немного только смягчив текст.

Было принято решение – доработать ее с автором и снять отдельные одиозные фрагменты. Люда же считала, что исправить подобный двусмысленный текст просто невозможно, и поэтому обратилась в Редколлегию словаря, чем вызвала раздражение редакции, так как “вынесла сор из избы”. Редколлегия категорически потребовала: или статья о Нилусе будет серьезно переработана, или часть ее членов покинет Словарь. В результате статья была снята вовсе.

И тут внезапно и резко началась Людина болезнь, которая сначала выглядела как панкреатит, а затем оказалась скоротечным раком. События развивались так стремительно, что, когда я оказалась на Людиных похоронах, я не верила, что все это могло произойти так внезапно и необратимо. Мне казалось, что это я сдвинула какой-то маленький камушек, и теперь он вызвал этот чудовищный обвал.

На поминках в редакции Александрова не было. Его попросили не приходить. Он, правда, звонил больной Люде незадолго до ее ухода и говорил, как хорошо было бы ей теперь креститься. Она послала его куда подальше.

А теперь все говорили про ее трудовые подвиги, про то, что она была честная и правдивая. На меня же с фотографии смотрела Люда со своей обычной немного ироничной улыбкой, как бы спрашивая: “Ну что, промолчишь?” Я не работала в “Энциклопедии” уже десять лет. Но это была моя семья, где меня научили лучшему, что определило мою жизнь. Поэтому я встала и сказала, что мы все должны просить у Люды прощения, потому что она погибла,

борясь за правду и справедливость. Она, не имея ни капли еврейской крови, сражалась против лжи, антисемитизма, потому что была человеком чести.

И тут на меня закричал Розин. Перескакивая с одного на другое, он говорил, что я не знаю всего, что она неправильно поступила, вынеся дела редакции на всеобщее обозрение, что все надо было делать не так.

Я ответила, что Люда, в отличие от всех нас, за свои взгляды заплатила жизнью.

У меня остался свой маленький памятник нашему прошлому – пьеса-капустник “Пантеон”, где в центре был сон героини про то, как редакция воскрешает Русских писателей и получает в свое ведение гостиницу “Пантеон” для размещения там оживших больших и маленьких литераторов. Писатели не дают покоя ни редакции, ни друг другу, так как сосуществовать под одной крышей – не могут. Я читала ее на наших веселых собраниях и, благодаря этой пьесе, ушла из “Энциклопедии”, открыв дверь в абсолютно другую жизнь.

Театральное

Есть люди, которые с детства любят театр, ходят на все главные премьеры, а потом потихоньку превращаются в актеров, режиссеров или драматургов. Я же зашла в театр не с того входа, не в ту дверь, оттого, наверное, мое пребывание в нем оказалось таким кратким. Чаще всего я любила не тот театр, который на сцене, а тот, который вычитывался прямо из жизни.

Новых молодых драматургов собрали на – тогда еще всесоюзный – фестиваль в огромном комплексе, построенном для комсомольских работников в Химках, в бывшем дачном месте под названием “Свистуха”. Еще никто не знал ни своего настоящего, ни будущего. Все было и шумно, и одновременно церемонно. Михаил Михайлович Роштин, приехавший недавно из Америки после операции на сердце, был бодр и, как мог, руководил этой огромной массой молодых людей, отличающихся как разнообразными талантами, так и непомерным честолюбием, которое никак не могло реализоваться в прежние застойные годы. Людмила Петрушевская устраивала нам сеансы психодрамы, от которых, честно говоря, стыла кровь. В них надо было включаться, участвовать, и были эти странные спектакли прообразами будущих телевизионных ток-шоу с исповедами, саморазоблачениями, с какой-то открывающейся неприятной наготой. Но ведь когда тыходишь в мир взрослых больших драматургов, то тебе кажется, что тут все устроено как надо.

Рядом со мной в комнате в нашей комсомольской гостинице жила и собиралась своя тусовка из Литинститута с Леной Греминой во главе и тогда еще застенчивым молодым драматургом из Кирова Мишей Угаровым, с Машей Арбатовой, к которым присоединились Ольга Михайлова и Александр Железцов. Я же общалась с людьми по большей части немосковскими, оригинальными, иногда странноватыми.

Например, я встретила там Сергея Говорухина, сына известного режиссера, который горько жаловался на отца. Он пробовал себя в драматургии, снимал квартиру в Москве. Отец давно расстался с его матерью, и Сергей рассказывал, как он приходил к отцу и просил у него талоны то на сахар, то на сигареты. Тогда талоны выдавались по месту прописки. В Москве он был на птичьих правах. И Сергей каждому встретившемуся мстительно пояснял, как ему неприятна громкая фамилия отца, которую он вынужден носить.

В этом огромном комплексе, где мы жили в комнатках-сотах, в последний раз собрались молодые люди со всего Союза, который скоро должен был стать бывшим. Во дворе был огромный сад с цветущим жасмином и другими невиданными кустами, сверкающими разными цветами и листьями. Вдоль них прогуливались утром и днем наши наставники и после прочтения пьесы делали свои замечания и давали советы молодым авторам. Так и я ходила по дорожкам с Виктором Славкиным, который как-то отстраненно и даже растерянно говорил мне, что не знает, хорошо мое сочинение или плохо, потому что теперь, наверное, новые веяния, в которых он не разбирается, а я пыталась понять, что же не так в моей пьесе, и была целиком была обращена в слух. Но наставник был весь как-то поверх и меня и моего слуха, и наконец я поняла, что мы не разговариваем с ним вовсе, а просто он сейчас со мной “работает”. Нельзя сказать, что я обижалась на него: я понимала, что тут такие правила.

В один прекрасный день на фестивале обнаружился необычный молодой человек, огромного роста, бритый, как молодой Маяковский, с низким рокошущим голосом. Собственно – он любил изображать Маяковского к месту и не к месту, зная о своем сходстве с ним.

Оказалось, что это одноклассник моего мужа – Олег Матвеев, часть своей жизни проработавший врачом, а теперь написавший пьесу с причудливым названием “Даешь Сальвадор!”, которую должны были разыгрывать на фестивале. Мы сразу же с ним подружились, тем более что его жена была мне немного знакома – она писала статьи для словаря “Русские писатели”. Олег был абсолютно детский. Он бросался на помощь, слушал, восхищался и негодовал, и

делал это очень необычно. Он не умел взвешивать, вычислять результат. И его пьеса была ему под стать.

История была такая. Молодые люди собирались у кого-то дома и долго пили. Причем пьяные разговоры они записывали на магнитофон. Проходило время. Они собирались вновь, включали магнитофон и прослушивали все то, что наговорили в прошлый раз. Смеялись, кричали и комментировали свои прежние беседы. Среди прочего они обсуждали: как бы на балконе выращивать огурцы, а затем их продавать на рынке или как бы поехать искать “колчаковское золото” в Сибири и так далее. Но однажды в компанию пришел один из друзей с криком, что сейчас началась заваруха в южно-американском Сальвадоре и можно будет записаться в особом месте и поехать туда воевать. Вся компания горячо поддержала предложение и пошла записываться на войну в Сальвадор. Конец. Занавес.

Мне и тогда показалось, что Олег что-то нащупал в нашем времени и поколении, которому было уже все равно, куда бросаться, хоть в Сальвадор, хоть на Северный Кавказ. Лишь бы вырваться из тупого однообразия... Их жизнь крутится в пустом самоповторе, как на том магнитофоне, на котором были записаны их пьяные застолья. Но сегодня эта пьеса и вовсе стала зловещим предсказанием событий от Чечни до Донбасса, куда из депрессивных городов, из подобных компаний отправляются солдатами удачи всё новые поколения. Олег и сам участвовал в опасных операциях, перегонял машины из Армении в Карабах, уходил от преследования бандитов. После фестиваля он поступил на Высшие сценарные курсы и в Литинститут. Но учиться нигде не смог. Что-то в нем уже было надломлено. Он умер в начале 2000 года в сорок лет от рака легких. Он был добр и светел и ушел туда, где все остаются детьми.

В начале 1990-х фестиваль переместился из Химок в усадьбу Станиславского “Любимовка” и в дальнейшем получил такое же название. 1992 год стал годом моего первого и последнего торжества в театральной жизни. Я написала пьесу “Дьяконов, его родные и знакомые”. Про режиссера Александра Дьяконова, жившего в начале века. Он был верным сыном декаданса, создавал странные рассказы про повесившихся священников, про инцесты и кровавые преступления. Порвал со своей купеческой семьей из Ярославля. Радостно принял революцию, но, когда вокруг него начали исчезать и гибнуть его близкие, вдруг пришел к мысли, что революция началась с него самого. Собственно, эти слова я обнаружила в какой-то записке его архива. Для этого были определенные причины. Потому что этот человек перевернул все вокруг себя именно “до основания”. В этой пьесе почти все было документально.

Собственно, все началось с дневника Елизаветы Дьяконовой, его сестры, который я заказывала для редакторов, когда еще работала в “Энциклопедии”. Я взяла домой огромный синий том с золотым тиснением, который открывался словами, что в 1903 году в горах погибла двадцатишестилетняя Елизавета Дьяконова, причина ее смерти осталась неизвестной. Поиски девушки шли около месяца.

Конечно, я читала не отрываясь. Я была поражена не только откровенностью дневников, но и тем, что они как бы стали ответом купеческой дочки на нашумевшие записки утонченной художницы-полуфранцуженки Марии Башкирцевой. Елизавета даже пыталась перещеголять ее в откровенности. Смерть Дьяконовой была сначала описана в дневниках, а затем исполнена. Все это было очень в духе наступающего XX века. Издание этих дневников вызвало невероятный резонанс в России, очень многие откликнулись на них, и по-разному; среди прочих были Василий Розанов и Марина Цветаева.

Но мне не давала покоя одна мысль, я понимала, что такая публикация была тогда настоящей бомбой; ведь все члены семьи Дьяконовых еще были живы. Издателем оказался – Александр Дьяконов, родной брат Елизаветы, выступавший на сцене под говорящим псевдонимом Ставрогин. В то время он был не только режиссером, но и доверенным лицом поэта Юргиса Балтрушайтиса по вопросам его публикаций. Все эти сведения, соединяясь, приводили меня в изумление. И я решила писать пьесу. При том что не могла отказаться от его имени; оно словно

приклеилось к нему. Так и появилась пьеса “Дьяконов”. После представления ее на фестивале в “Любимовке” М. М. Рощин, подмигнув мне, сказал, что он знал моего героя уже стариком. Я не особенно радовалась, понимая, что смешала вымысел и правду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.